

**Алексей Константинович Толстой**

# **Упырь**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-312.4  
ББК 84-4  
А47

А47      **Алексей Константинович Толстой**  
Упырь / Алексей Константинович Толстой – М.: Книга по Требованию, 2012. – 52 с.

**ISBN 978-5-4241-2143-2**

Сюжет повести классика Алексея Константиновича Толстого «Упырь» вращается вокруг Александра Андреевича Руневского, которому на одном из балов некий господин доверительно сообщил, что хозяйка праздника, а также некоторые из гостей, на самом деле... упыри!

**ISBN 978-5-4241-2143-2**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Алексей Константинович  
Толстой



# Упырь

Сочинение Красногорского <sup>1</sup>. Санкт-Петербург. 1841.

В привилегированной типографии Фишера.

Эта небольшая, со вкусом, даже изящно изданная книжка носит на себе все признаки еще слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования, которое нечто обещает в будущем. Содержание ее многосложно и исполнено эффектов; но причина этого заключается не в недостатке фантазии, а скорее в ее пылкости, которая еще не успела умериться опытом жизни и уравновеситься с другими способностями души. В известную эпоху жизни нас пленяет одно резкое, преувеличенное: тогда мы ни в чем не знаем середины, и если смотрим на жизнь с веселой точки, так видим в ней рай, а если с печальной, то и самый ад кажется нам в сравнении с нею местом прохлады и неги. Это самое соблазнительное и самое неудобное время для авторства: тут нет конца деятельности; но зато все произведения этой плодотворной эпохи в более зрелый период жизни предаются огню, как очистительная жертва грехов юности. И хорошо тому, кто в эту пору жизни брал себе за закон стихи Пушкина:

Блажен, кто про себя таил  
Души высокие созданья,  
И от людей, как от могил,  
Не ждал за подвиг воздаянья!

...Вообще, густота и яркость красок, напряженность фантазии и чувства, односторонность идеи, избыток жара сердечного, тревога вдохновения, порыв и увлечение – признаки произведений юности. Однако же все эти недостатки могут искупаться идеею, если только идея, а не безотчетная страсть к авторству была вдохновительницею юного произведения.

«Упырь» – произведение фантастическое, но фантастическое внешним образом: незаметно, чтоб оно скрывало в себе какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастические создания Гофмана; однако же оно может насытить прелестью ужасного всякое молодое воображение, которое, любясь фейерверком, не спрашивает: что в этом и к чему это? Не будем излагать содержания «Упыря»: это было бы очень длинно, и притом читатели не много увидели бы из сухого изложения. Скажем только, что, несмотря на внешность изобретения, уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии; а мастерское изложение, умение сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на «слог», словом – во всем отпечаток руки твердой, литературной, – все это заставляет надеяться в будущем многого от автора «Упыря». В ком есть талант, в том жизнь и наука сделают свое дело, а в авторе «Упыря» – повторяем – есть решительное дарование.

В. Г. Белинский

...Есть, однако, у него сфера, где сходятся обе грани его роковой двойственности, где действует сила еще не осуществленного, но близкого синтеза, – это

область, в которой сливаются явь и сновидение, реальность и выдумка. «Меж сном и бдением краток промежуток», и в течение его мир перестраивается, – и как отличить, что в нем – правда и что – видение? Это девять волков или девять ведьм идут ночью по деревне? Слышится ли в самом деле песня там, где гнутся над омутом лозы? Наступает ли просто вечер, обыкновенный вечер без тайны, или в ступе поехала баба-яга и в Днепре заплескались русалки? Вы можете принять то или другое; незаметно переходит действительность в грёзу, и любит поэт играть с сверхъестественным, – например, показывать (в «Упыре») бессмертие человеческого жилища, вечную обитель души...

Ю. Айхенвальд

...Однажды, когда я вернулся домой, Василий Петрович (Боткин) встретил меня словами: «здесь был граф Алексей Константинович Толстой, желающий с тобою познакомиться. Он просил нас послезавтра по утреннему поезду в Саблино, где его лошади будут поджидать нас, чтобы доставить в его Пустыньку. Вот письмо, которое он тебе оставил».

В назначенный день коляска по специальному шоссе доставила нас из Саблина версты за три в Пустыньку. Надо сознаться, что в степной России нельзя встретить тех светлых и шумных речек, бегущих среди каменных берегов, какие всюду встречаются на Ингерманландском побережье. Не стану распространяться о великолепной усадьбе Пустыньки, построенной на живописном правом берегу горной речки, как я слышал, знаменитым Растрелли. Дом был наполнен всем, что вкус и роскошь могли накопить в течение долгого времени, начиная с художественных шкапов Буля до мелкой мебели, которую можно было принять за металлическую литу. Я не говорю о давнишнем знакомом Василии Петровиче; но и меня граф и графиня, несказанной приветливостью и истинно высокой простотою, сумели с первого свидания поставить в самые дружеские к себе отношения. Невзирая на самое разнообразное и глубокое образование, в доме порой проявлялась та ищущая улыбка, которая потом так симпатически выразилась в сочинениях «Кузьмы Пруtkова». Надо сказать, что мы как раз застали в Пустыньке единственного гостя Алексея Михайл. Жемчужникова, главного вдохновителя несравненного поэта Пруtkова. Шутки порою проявлялись не в одних словах, но принимали более осязательную, обрядную форму. Так гуляя с графиней по саду, я увидел в каменной нише огромную, величиною с собачонку, лягушку, мастерски вылепленную из зеленой глины. На вопрос мой – «что это такое?» графиня со смехом отвечала, что это целая мистерия, созданная Алексеем Михайловичем, который требует, чтобы другие, подобно ему, приносили цветов в дар его лягушке. Так я и по сей день не проник в тайный смысл высокой мистерии. Не удивительно, что в доме, посещаемом не профессиональными, а вполне свободными художниками, штукатурная стена вдоль лестницы во второй этаж была забросана большими мифологическими рисунками черным карандашом. Граф сам был тонкий гастроном, и я замечал, как Боткин преимущественно перед всеми наслаждался превосходными кушаньями на лондонских серебряных блюдах и под такими же художественными крышками.

...Не могу не сказать, что с первого дня знакомства я исполнился глубокого уважения к этому безукоризненному человеку. Если поэт и такой, что, по словам Пушкина:

И средь детей ничтожных мира

*Быть может всех ничтожней он...*

– способен в минуту своего поэтического пробуждения привлекать и уносить нас за собою, то мы не сможем без умиления смотреть на поэта, который, подобно Алексею Констант., никогда по высокой природе своей не мог быть ничтожным.

То, о чем мне придется рассказать теперь, в сущности нимало не противоречит моим взглядам на вещи, так как я знаю, что если бы мне говорить только о том, что я совершенно ясно понимаю, то в сущности пришлось бы молчать.

Часу в девятом вечера мы все, в числе упомянутых пяти человек, сидели наверху в небольшой графининой приемной, примыкавшей к ее спальне. Я знал, что Боткин не позволял себе никогда рассказывать неправды, и что от него жестоко досталось бы всякому, заподозрившему его в искажении истины; и вдруг в разговоре, начало которого я не расслышал, Василий Петрович обратился к хозяйке дома:

– А помните, графиня, как в этой комнате при Юме стол со свечами поднялся на воздух и стал качаться, и я полез под него, чтобы удостовериться, нет ли там каких-нибудь ниток, струн или тому подобного, но ничего не нашел? А затем помните ли, как вон тот ваш столик из своего угла пошел, пошел и взлез на этот диван?

– А не попробовать ли нам сейчас спросить столик? – сказал граф. – У графини так много магнетизма.

Столоверчение было уже давно в ходу, и, конечно, мне шутя приходилось принимать в нем участие. Но никогда еще серьезные люди в моем присутствии не относились так серьезно к этому делу. Мы уселись за раскрытый ломберный стол в таком порядке: граф с одной стороны стола против меня, по левую его руку графиня и Жемчужников, а напротив них, по правую сторону графа, Боткин на диване. Возбужденный любопытством до крайности, я не выдержал и сказал: «пожалуйста, будемте при опыте этом сохранять полную серьезность». Говорил я это внутренне по адресу ближайшего соседа своего Жемчужникова, за которым я дал себе слово внимательно наблюдать.

– Кого же вы считаете способным к несерьезности? – спросила графиня и тем убедила меня в неосновательности моего подозрения.

Соприкасаясь мизинцами, мы составили на столе непрерывный круг из рук. Занавески на окнах были плотно задернуты, и комната совершенно ясно освещена. Минуты через две или три после начала сеанса я ясно услышал за занавесками окон легкий шорох, как будто производимый беготнею мышшей по соломе. Конечно, я принял этот шум за галлюцинацию напряженного слуха, но затем почувствовал несомненное дуновение из-под стола в мои свесившиеся с краю ладони. Только что я хотел об этом заявить, как сидевший против меня граф тихо воскликнул: «господа, ветерок, ветерок. Попробуй ты спросить, обратился он к жене: они к тебе расположены». Графиня отрывисто ударила в зеленое сукно стола, и в ту же минуту послышался такой же удар навстречу из-под стола.

– Я их попрошу, – сказал граф, – пойти к Афан. Афан., и он сказал: *alles chez monsieur*; – прибавя: они любят, чтобы их просили по-французски. Спросите их ямбом, – продолжал он.

*Я постучал и получил в ответ усиленно звучные удары ямбом. То же повторилось с дактилем и другими размерами; но с каждым разом интервалы между ударами становились больше, а удары слабее, пока совсем не прекратились.*

*Я ничего не понимал из происходящего у меня под руками и, вероятно, умру, ничего не понявши...*

*А. А. Фет. «Воспоминания»*

## УПЫРЬ

Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматривая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтоб завести с ним разговор.

— Вы, верно, кого-нибудь ищите, — сказал он, — а между тем ваше платье скоро начнет гореть.

Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал:

— Нет, я никого не ищу; мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу *упырей!*

— Упырей? — повторил Руневский, — как упырей?

— Упырей, — отвечал очень хладнокровно незнакомец. — Вы их, Бог знает почему, называете *вампирами*, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: *упырь*; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали *вампира*. *Вампир, вампир!* — повторил он с презрением, — это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо привидения — *фантом* или *ревенант!*

— Но однако, — спросил Руневский, — каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?

Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другою дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела.

— Знаете ли вы эту старуху? — спросил он Руневского.

— Это бригадирша Сугробина, — отвечал тот. — Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача совсем не в бригадирском вкусе.

— Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку; это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите; но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких; но вы им не верьте!



Руневский слушал и не верил ушам своим.

– Вы сомневаетесь? – продолжал тот. – Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушали, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности; ну, да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?

В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и с знаком отличия за сорок пять лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше.

– И это упырь? – спросил Руневский.

– Без сомнения, – отвечал незнакомец. – Это статский советник Теляев; он большой приятель Сугробиной и умер двумя неделями прежде ее.

Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника.

– С донником, мой батюшка? – спросила она.

– С донником, сударыня, – отвечал сладким голосом Теляев.

– Слышите? – сказал незнакомец Руневскому. – Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак? Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее.

– Скажите мне, – спросил Руневский, – каким образом вы узнаете, кто упырь и кто нет?

– Это совсем немудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и (мимоходом буди сказано) немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют.

Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его vis-a-vis<sup>2</sup>. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием. Она была лет семнадцати; черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер; но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а вместо его появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без всякого злословия и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если б они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выраженья к печальному и от печального к веселому составлял странную противоположность. Когда стройный и легкий стан ее

мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руевского такого сильного впечатления; он тотчас после танца попросил, чтоб его представили ее матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневский узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки? Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки еще более возбудило участие Руевского, – но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка, после нескольких пошлых вопросов, представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела.

– Вы много смеялись с моей кузиной, – сказала она ему. – Кузина любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от нее досталось?

– Мы мало говорили о присутствующих, – отвечал Руневский. – Разговор наш более касался Французского театра.

– Право? Но признайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его брали. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу, но я это делаю для кузины; маменька по-французски не понимает, и для нее все равно, есть ли театр или нет, а бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки; это в полном смысле слова – бригадирша. Поверите ли, она сожалеет, что мы более не пудримся?

Софья Карповна (так называли барышню), посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руевского своею колкостью, перешла и к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадрили.

– Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру, – говорила она Руневскому. – Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее и можно ли для нее придумать фамилию приличнее той, которой она гордится: ее зовут Фрышкин! Это самый несносный человек в Москве, и, что всего досаднее, он себя считает красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи! Мне кажется, он скоро проломает паркет!

Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей.

– Смотри ж, мой батюшка, – сказала ему ласково старуха, – к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; куцых-то фраков не носили, а не хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек! Да и

обхождение-то было другое; учтивее люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так индо слушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александровичем, а на той стороне турка стоит; наших-то немного, да и всё почти новички, а ихних-то тьма-тьмушая. Вот от матушки-государыни повеленье пришло к графу: перейди, дескать, через Дунай да разбей басурмана! Нечего делать, не хотелось графу, а послушался, перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка: куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило; начал отступать граф Петр Александрович, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Пришемили его между трех армий; тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатью Савельичу с ним, если б немец-то, Вейсман, не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка? Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями! Не уступлю, дескать; знай наших! Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чета, даром что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе буди сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатья Савельича и про Румянцева.

– Вот приехал бы ты ко мне на дачу, – сказала она ему под конец, – я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатья Савельича. Живу я не так, как жила прежде, не то теперь время; а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в Березовую Рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович, – прибавила она, указывая на Теляева, – меня также не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит; она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки; не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того чтоб сделать его вперед.

– Рад служить, рад служить, матушка Марфа Сергеевна, – сказал он сладким голосом бригадирше, – и даже... если бы... в случае... то есть... – Тут Семен Семенович шелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее: не знает ли она, кто он? Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому:

– Знаю, мой батюшка, знаю; это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие край! Пошатался там года с два, да и приехал с умом наизнанку. – Сказав это, она своротила разговор на кампании Игнатья Савельича.

Вся тайна обращения г. Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского.

Он был сумасшедший, бригадирша Сугробина добрая старушка, а Семен Семенович Теляев не что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него не доставало зубов.

Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетюшкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, столько же он чувствовал отвращения к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока пяти, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отомстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприятно подать об ней невыгодное мнение; между тем Софья Карповна притворялась ее искреннею приятельницею и с жаром извиняла ее мнимые недостатки.

Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить, и сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее.

Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько; он удивлялся ее постоянной приветливости к этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она, со всею приличною скромностию, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него, как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала; она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали и наконец однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки.

— Я знаю, — говорила она, — что они меня не любят и что я в тягость; вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто, наедине, я горько плачу!

— А ваша бабушка? — спросил Руневский.

— О, бабушка совсем другое дело! Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как при чужих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил! Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенком, только с ней я и могу разговаривать про маменьку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче; не правда ли, вы также туда заедете?

— Непременно приеду, если это вам не будет неприятно.